Пастернак Борис

21.04.93

Лит. газ. – 1993 – 21 апр (№ 16) – с. 6

Фрагмент из книги «Поэзия и неправда»

После напечатания во Франции «Рассказов о Анне Ахматовой» одно из парижских издательств предложило мне написать книгу о судьбах поэтов в России между 1914 и 1941 годами. Я, в свою очередь, уже добрую четверть века живу под набирающим силу впечатлением от того, с какой полнотой все случившееся с Россией выразило себя в судьбах ее поэтов. И, так или иначе, пишу об этом. Таким образом, мои интересы и издательское предложение пришлись друг к другу, как орел и решка. С первых страниц книга стала говорить о судьбе поэзии вообще, поэта вообще, о месте, которое поэзия занимает в общем замысле жизни, об особенностях претворения этого замысла в реальность в XX веке. И тотчас обнаружились механизмы поэзии, неизменные во все периоды истории. Это дало мне право описывать их работу через опыт моего поколения, а точнее, того небольшого круга поэтов, который мне естественно называть «мы». Переход из 1914 года в 1956-й стал выглядеть оправданным и оказался простым; из 20-х в 60-е и из 30-х в 70-е — напрашивающимся, так же как и обратно. Для «нас» предшествующим стало поколение поэтов 10-х годов. У исторического времени иная последовательность, нежели у физического.

Анатолий НАЙМАН

Буквы, проступающие на стене

Оформление Натальи РАЙСКОЙ

ГЕРМАНЦЕВ женился в те же дни, когда вдруг ниоткуда и повсюду появился Иосиф Бродский. Для окружающих, например для меня, Германцев женился тоже вдруг — ни из чего не следовало, что он собирается, никакой свадьбы не было. Жена его водила экскурсии по Эрмитажу, но голос у нее был такой тихий, что метров с трех приходилось напряженно вслушиваться. Когда, поднимаясь на третий этаж к импрессионистам, я наткнулся на ее экскурсию, меньшая часть группы облепляла ее по-пчелиному, а остальные переговаривались, бродя по залу.

Тогда я ходил в Эрмитаж, как на прогулку в близлежащий парк, часто встречал там кого-то, с кем уже виделся утром, — Бобышева, Еремина, того же Германцева. Контролерши, знавшие нас, а мы их со школы, пропускали без билета. На третьем этаже царили тишина и безлюдье, и можно было просидеть полчаса на бархатной скамейке напротив вандонгеновской «Дамы в черной шляпе» или вангоговского сине-зеленого «Куста», прежде чем раздавались шаги такого же любителя этих холстов, со знакомым лицом, а иногда и именем, или забредшего случайно командировочного с негнущимися от многочасового блуждания по залам ногами. Уходить и даже просто двигаться не хотелось, разве что подойти к окну и, упершись лбом в прохладное стекло, глядеть на пустынную Дворцовую площадь с невидимо нанесенными на мостовую траекториями маршрутов, по которым ее пересекали редкие пешеходики. От абсолютной прямолинейности их таинственным образом отклоняла колонна в центре, причем не ангел, всегда остававшийся в ранге украшения, а физическая тяжесть гранитной массы. Имперская величественность и острая горечь одиночества побуждали к жесту более выразительному, чем слово, но ничего равного тому, когда последний царь процарапывал бриллиантом перстня *«look forward!»* на одном из окон второго этажа, не приходило в голову. Когда Юра Селезнев, окончив юридический и получив для служебного пользования пистолет, сказал мне театрально, что после свержения большевиков он поставит членов обкома партии в окна Зимнего дворца и будет с площади прицельно расстреливать их, я ответил: «Безвкусно!» — довольный, что могу произнести это искренне.

48

К О МНЕ Бродский пришел от Рейна. Вернее, приехал на велосипеде — он гонял на велосипеде по городу с утра до вечера. Он был ярко румян, даже пунцов, и неярко рыж. Он все время производил звучание, особенно заметное, когда молчал, но и явственно добавочное к речи. Звучание в разных видах — возгласа, хохотка, вскрика, фырканья, мурлыканья, шипенья, гудка, всхлипа, клекота, стона — сопровождало все, что говорил я, и все, что говорил он, комментарием сиюминутной оценки и попыткой немедленно, если не опережая, исправить говоримое. Во время чтения им стихов оно достигало громкости, иногда заглушавшей слова и строчки. Гласные он произносил с таким избытком звука, что каждая была не единственной на данном месте слова, а доминирующей, солирующей в хоре: «ыоу́» было «у», а «ыо́у» — «о». Носовые присутствовали почти везде: м(г)ладенческие (мг)ла(н)ры, (м)б(гн)ольшой пое(г)з(н)д — и, хмыкнув, тут же: «По-польски лучше — почьонг», — и улыбка удовольствия. В акустическом аппарате черепа, как в музыкальном ящике, начинала гудеть даже природная картавость.

48

Это, собственно, и было все, что было. Стихи, как ядовито выражались в школе ругатели-учителя, вошли в одно ухо и вышли из другого. Впечатление талантливости производили не они, а читающий. Телефонная рекомендация Рейна: «К тебе зайдет такой Иосиф, ладно?» — ни к чему не обязывала. Это был не первый из посланных от одного из нас к другому и, кстати сказать, не первый Иосиф: в те же дни продавщица из Дома книги спросила, не хочу ли я познакомиться с молодым поэтом Иосифом Бейном, что при наличествующих Рейне и Бродском было уже немного чересчур. Бродский не прочел ни «Кофты фата», ни тем более «Облака в штанах», чтобы восхититься им, как Пастернак Маяковским, но его отношение к тому, что он читал, каждым смешком, гримасой и надрывом в голосе клялось, что он знает, как далеки его стихи от лучших, чем они, а главное — от лучших на свете, уже известных и еще не существующих, и знает, по какой дороге к ним идти. Он был открыт, доверчив, расцветал, когда хвалили его, восторженно хвалил чужое.

К этому времени за ним числился гражданский поступок. Разогнавшись на велосипеде, он швырнул в открытое окно Союза писателей, где шло заседание секретариата, презерватив, наполненный сметаной. Пораженные разорвавшейся бомбой секретари звонили в КГБ, их успокоили, сказав, что это, скорее всего, хулиганство, а не политическая акция, но что случившееся взято на заметку. В ноябре 1958 года на закрытом собрании партбюро писатели выслушали доклад полковника КГБ про деятельность не раскрытой пока организации, направленную против советской литературы. Милицейский автомобиль, патрулировавший ночью набережную Невы, высветил на ее граните, прямо против ворот Летнего сада, надпись «Да здравствует Пастернак!», нанесенную белой масляной краской. За 10 минут до того, во время предыдущего рейса, надписи не было. Дежурный по отделению связался со своим городским начальством, а те — с КГБ. Прибывший к месту происшествия спецнаряд обнаружил, что краска еще не засохла, то есть что надпись действительно свежая. Это отчасти сняло с милиционеров подозрение в потере бдительности, в том, что на самом деле они проезжали по набережной два-три раза в ночь, а остальное время спали в своем «газике», зарулив в глухую подворотню. И, с другой стороны, это наводило на мысль, что агентура западных разведок в данном случае была достаточно: а) молодая, чтобы за 10 минут прибежать, нашкодить и убежать; и б) многочисленная, чтобы даже в случае молодости и резвости, разделив надпись на части и работая одновременно, уложиться в максимально короткий срок. Спецнаряд отправил сотрудника за растворителем и до его возвращения спинами заслонял надпись от потенциальных читателей.

Полковник сказал, что, по мнению специалистов, в антисоветской провокации принимали участие от трех до четырех человек. И, дав папке, по

которой читал, эффектно упасть из его рук на сукно стола, вспомнил о «заряде сметаны, выпущенной неизвестными лицами в сторону правления Союза писателей с помощью противозачаточного средства». Партбюро всколыхнулось. «Тот же почерк! — воскликнул в волнении Буеводин, писатель для юношества. — Один почерк, я их как вижу!» «Почерк разный, — отозвался полковник, отеческой улыбкой снисходя к горячности писателя, — даже антисоветский лозунг выполнен разными почерками. — И пошутил: — А резиновое изделие и вообще без почерка». «Я хочу сказать: одна манера! В одной манере! — кричал Буеводин. — И белый цвет! Белое — там и там».

Боевиков из контрреволюционной организации «Да здравствует Пастернак!», и правда, было от трех до четырех, а именно трое. Те самые двое, что незадолго до того и невдалеке от того места прыгнули, верные даме, не то в Неву, не то в Лебяжью канавку, и немедленно присоединенный к ним молвой третий: Уфлянд, Виноградов, Еремин. Об серьезность, с какой стихи Уфлянда подавали свое иван-дурачество, официальная серьезность расшибалась, как кремовый торт об физиономию Чаплина. Виноградов по-драконовски хыкал строчкой, перечеркивавшей контекст газет, трамвайных тем, слухов шрамиком иронической формулы, указывающей на них и тем самым отменяющей; строчка и была *целым* стихотворением. Еремин только начинал заносить в память рассчитанных на пополнение год от года восьмистиший клинописную весть о библиотеках, чувствах, улицах и просторах Вселенной и конкретного ее города и лета.

Радио- и печатный навал на Пастернака за то, что он написал «Доктора Живаго», а «Доктор Живаго» получил Нобелевскую премию, наблюдать в бездействии было невыносимо. В ранних ренессансных изображениях охоты на зверя всегда жалко зверя — леопарда, кабана, одиночку, обвешанного собачьей стаей, но особенно если зверь — единорог, на рвущие его пасти глядящий печально и смиренно. Мы не вглядывались в особей стаи, и имена писателей, вышедших на расправу, звучали для нас как нарицательные *полкан, барбос* и *жучка*, независимо от того, охотно или из-под палки оскаливали они зубы. Момент был подлинный, и мы ценили его за подлинность. Когда пишут детские стихи про крошек-сороконожек и Тамару-санитару и разводят турусы на колесах благородства, чувствуешь, что подло, но пойди докажи. А когда «нет пощады лакею империализма!», «и предателю народа! лакею и предателю!», все становится на свои места. Нам хотелось это услышать. Нам не хотелось, чтобы Пастернак каялся, чтобы «старался восстановить подорванное доверие товарищей». Нам не хотелось — однако прочитаны были эти его письма в «Правду» как «тихий хрип, как хрип: «Испить, сестрица».

Еще учась в институте, мы с Бобышевым вдруг решили пойти к Зощенко и сказать ему, что он замечательный писатель и все это знают, а постановление ЦК партии и последующие поношения — мерзость и это тоже все знают. Мы нашли адрес, позвонили в дверь, он открыл, мы сказали, что хотим видеть Зощенко. «Его нет дома», — ответил он испуганно, маленький, слабый, подавленный. Но мы уже произносили не без торжественности: «Михаил Михайлович, вы замечательный писатель...» — и так далее. Прихожая была завалена собранием сочинений Ленина, полсотней томов в красных переплетах. «Да, да, — лепетал он растерянно, — благодарю. Но я сейчас болен, очень болен. Приходите на следующей неделе в два часа». Мы с чувством попрощались и вышли на улицу. Только пройдя сотню метров вдоль канала, мы сообразили, что «два часа на следующей неделе» — время из пьесы абсурда. Но в конце концов в наши планы не входило сидеть у него в гостях, признание сделать удалось, а обманка, на которую мы клюнули, была изготовлена настолько по-зощенковски, что выглядела как бы премиальной.

И этот визит, еще отдававший недавней запретностью и угрозой преследований, реально уже, по-видимому, не существующими; и вольт «Да здравствует Пастернак!», по-настоящему опасный, тянувший на несколько лет отсидки для каждого, имели общее естественное побуждение: открыть форточку в помещении, где ораторы внушают толпе, что спертый воздух, которым они дышат, свежее уличного. То, что скученной толпой был весь народ, а стража обеспечивала задраенность окон и дверей, столь же естественно прибавляло желанию жара. Конечно, «Да здравствует Пастернак!» звучало по-советски — один из сотни подобных казенных лозунгов, выпускаемых партией и правительством к 7 ноября и 1 Мая, — но ведь к *советским* это и обращалось. Вдобавок, уважая и любя Пастернака или того же Зощенко, мы уважали и любили самое искусство, так несомненно в них олицетворенное. Глумиться над ними или отрицать, к чему нас приглашали, можно было — даже в случае неприятия их позиции и манеры, — только если приспела надобность глумиться и отрицать то, что делаешь сам. «Пастернак — глава рода!» — агрессивно произносил Виноградов, и непонятно было, спорит он с тобой, неспорящим, или вызывает на спор, или декламирует какой-то собственный моностих. Глава рода и должен здравствовать, а то, что формула пожелания распространялась на фальшивые объекты, делало ее применительно к нему живой и свежей.

Что кто-то вывел эти слова, слух ходил по Ленинграду еще до секретных откровений полковника. Говорили, что люди видели написанное на стене Петропавловской крепости, на брусчатке Дворцовой площади, на колоннаде — по букве на колонне — Исаакиевского собора. О том, кто и где это в действительности проделал, мы узнали от исполнителей. Но легенда о множественности протеста продолжала гулять, и, когда кто-нибудь из нас давал понять, что знает истинную историю, ему возражали: ну и что, что у Летнего сада? Да, у Летнего сада, но также на Петропавловке, на Дворцовой и на Исакии. Говорили, что по утрам, когда камни обметывает ночным инеем, стертые кагэбэшниками буквы проступают довольно отчетливо. И ты начинал этому верить, потому что ведь видел же я собственными глазами, как на сводчатом потолке военной кафедры, занимавшей помещение бывшей институтской церкви, к весне проступали очертания Пантократора, несмотря на то, что его к каждой осени покрывали густым слоем краски. Режиму шел пятый десяток, он замазывал все щели — и клей для замазки варил крепчайший: из человеческих костей и крови. И закупоренной жизни ничего не оставалось, кроме как проступать на стенах, возникать на невской набережной призраками с малярной кистью в руке, проноситься велосипедистом с выменем несцеженной сметаны.

С ТЫЧКА Мандельштама с левым эсером Блюмкиным в 1918 году — того же происхождения. Так же уже назавтра никто не знал точно, что именно произошло. Пьяный чекист, на полночной вечеринке заполняющий именами намеченных жертв пустые ордера на расстрел, авансом подписанные Дзержинским. Трепещущий от страха и ярости поэт, выхватывающий у него из рук эти бумажки и разрывающий их в клочья, бегство и погоня по черным ледяным московским улицам. Картинка, слишком похожая на, как любила говорить Ахматова, «народные чаяния». Но, даже если в той конкретной комнате обезумевшее чудовище в кожаных латах только тыкало пачкой ордеров и наганом в лица собравшихся и кто-то один нашел в себе смелость пискнуть что-то вроде «не имеете права» или хотя бы «нехорошо», — «народные чаяния» хотели видеть и реально видели то, что вульгарный ужас и вульгарная трусость старались от них заслонить. Власть изображала из себя бандита и зверя, чтобы доказать свою всесильность; свобода изображала из себя пугливую птицу, чтобы свою всесильность скрыть. Откуда-то — а убедительнее всего из-за ролей, которые та и другая разыгрывали, — зрители прекрасно знали, что власть не всесильна, а всесильна как раз свобода.